

Валерий Анишкин
Баламуты

Рассказы



Валерий Георгиевич Анишкин

Баламуты. Рассказы

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23792832

ISBN 9785448504600

Аннотация

Рассказы, составляющие этот сборник, описывают ушедшую советскую эпоху. Герои рассказов живут в то время, которое принято называть «доперестроечным», и весь их быт и поведение определяются и подчинены этим условиям. Главное, что определяет каждый рассказ – это спокойные краски, рельефный портрет героя и настроение. Для читателя эта книга может оказаться неожиданной, она не только «уходящая натура», но и почти ушедшее мастерство короткой формы, сдержанной и лаконичной.

Содержание

Предисловие	5
От автора	8
«Нищая» Паша	13
Хозяйка	26
Василина	42
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Баламуты Рассказы

**Валерий Георгиевич
Анишкин**

© Валерий Георгиевич Анишкин, 2017

ISBN 978-5-4485-0460-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рассказы, составляющие этот сборник, описывают ушедшую советскую эпоху. Герои рассказов живут в то время, которое принято называть «доперестроечным», и весь их быт и поведение определяются и подчинены этим условиям. Но условия могут меняться, а люди все равно остаются прежними со всеми их достоинствами и недостатками.

Главное, что определяет каждый рассказ – это спокойные краски, рельефный портрет героя и настроение.

Для читателя эта книга может оказаться неожиданной, она не только «уходящая натура», но и почти ушедшее мастерство короткой формы, сдержанной и лаконичной.

Предисловие

Реалистический рассказ стал сейчас одним из наиболее трудных жанров. Мало кто из писателей может рассказать простую житейскую историю, не прибегая к помощи фантастики, постмодернистской игре или не уходя в самоиронию.

Спору нет – все это интересно и украшает текст, но иногда хочется «кристальной чистоты литературного вкуса», без приправ и гарнира. Автору-реалисту трудно удержаться: обойтись без морали, без протагониста – именно этим при всем мастерстве славна классическая литература XIX века. Редкий оставлявший записи Охотник мог не подводить в них читателя к некой высшей мысли – и понадобилось полвека, чтобы литература доросла до Чехова и Бунина, отразивших действительность по-настоящему объективно – и при этом ярко.

Рассказы Валерия Анишкина более всего как раз и похожи на именно эти образцы реалистической литературы – в них есть подтекст, но нет обязательного к пониманию вывода. Литература, очищенная от излишнего приема, сейчас кажется непривычной. Не развлечение – здесь нет приключений, не тяжкая внутренняя работа, а живопись «для отдохновения глаз»: спокойные краски, рельефный портрет героя и настроение – главное, что определяет каждый рассказ.

Именно поэтому не так важно, что рассказы описывают

ушедшую советскую эпоху – с ее выездами на картошку или столь популярным некогда конфликтом «город – деревня». Как ни странно, но именно «устаревший» антураж стал одним из немногих приемов – хотя вовсе не был задуман таковым. Как и у Чехова, ушедший быт оказывается для нас важной чертой действия, чего вовсе не ожидал автор. Детали рассказов сборника вроде рабочих поселков, сейчас уже почти ушедших в воспоминания, превратились в местный колорит. Пусть непривычный – та эпоха закончилась, но еще не исчезла, – но помогающий лучше увидеть героев. Присмотреться к ним не как к типам, лицам из толпы, а увидеть их в их мире, после чего понять, что антураж может меняться, а люди все равно останутся прежними.

Именно это и подчеркивает автор намеренно аскетичными названиями рассказов. Типичные герои в типичных обстоятельствах: «Кража», «Конфликт». «Измена». Конечно, без литературного контекста не обходится: трудно не заметить, к примеру, аллюзий на «Короля Лира» в «Василине». Но при этом они не становятся главным, самоцелью – в рассказе нет игры. Вместо нее честный и тонкий психологический анализ.

Здесь автор, внутренне ограничивая себя, останавливается порой как будто бы на полуслове. Однако вскоре становится понятно, что так и нужно: рассказ не роман, характер не будет раскрываться здесь на протяжении долгой интриги с сюжетными поворотами. Одно событие, в котором, тем

не менее, как в классической капле воды, видна оставшаяся за рамками текста жизнь, оказывается зачастую гораздо показательнее иных многословных страниц.

Встретить такую книгу сейчас – неожиданно, она не только «уходящая натура», но и почти ушедшее мастерство короткой формы, сдержанной, лаконичной и от этого тем более яркой.

Литературный рецензент издательства «ЭКСМО»
Алексей Обухов

От автора

Рассказы, составившие этот сборник, были написаны в конце 80-х, начале 90-х годов прошлого века. Тогда эти рассказы сборником готово было взять издательство «Современник», но редактор просил «уравновесить тяжелое впечатление от них более светлыми и оптимистическими вещами», а также, по мере возможности, убрать водку, которую мои персонажи без меры пьют. «Впрочем, возможно, что без пьянства, которое стало слишком характерным в нашей действительности, уже и не так-то просто давать правду жизни», – вынужден был все же в заключение признать автор письма.

Зам главного редактора журнала «Молодая гвардия», куда я послал подборку рассказов по рекомендации местного литературного объединения, также отмечал, что персонажи вызывают весьма горькие чувства, а отсутствие «положительной программы», способной уравновесить негативную часть, «делает рукопись тяжелой для издательства, обращенного к молодому читателю».

Другими словами, водка, которой было слишком много в рассказах, но которую пьют, как это ни «горько сознавать», и негативная часть, которая существовала в обыденной жизни, но которую требовалось уравновесить, потому что это делало рукопись «тяжелой» для издательства, становились

на пути публикации хорошего, по словам редакторов, материала.

Но удивительного здесь ничего не было. Система защищала себя, методы социалистического реализма были в действии и соблюдались неукоснительно. А методы эти предполагали, что жизнь должна изображаться оптимистично.

При Советской власти социалистическое искусство было набором обязательных образцов, и за этим тщательно следили.

Запретным считалось многое, и запреты не должны были проникать в сферу, где развивалось социалистическое искусство. Образцы запретного содержались в спецхранах, куда допускались люди по специальным пропускам. Например, в библиотечных спецхранах можно было таким образом ознакомиться с запрещенной литературой. Если же что-то запретное доходило до массового читателя, то это было переложение, приемлемое для советского читателя, или это запретное сопровождалось соответствующими комментариями или предисловием.

Социальное считалось более важным и значительным, чем отдельный человек. Идеология имела охранительный характер, а все основные вопросы сводились к партийности. Художники должны были служить своими произведениями строительству социализма, т.е. изображать жизнь в свете идеалов социализма. Писатель же должен был выступать и влиять на читателя как пропагандист.

В художественном произведении важно было показать хороший поступок и революционную борьбу за светлое будущее. Ну и, конечно, важен был процесс исторического развития в соответствии с положением исторического материализма, согласно которому материя – первична, сознание – вторично.

В социалистической стране было много хорошего, и нельзя забывать и сбрасывать со счетов те социальные блага, которыми пользовались широкие слои населения. Почти бесплатным было содержание детей в детских садах и яслях, бесплатными были кружки в Домах пионеров и спортивные секции, а путевки в пионерские лагеря обходились родителям чуть больше, чем в 12 рублей. Бесплатным было образование в школе и в институте. Бесплатными были квартиры при дешевых коммунальных услугах. Медицинское обслуживание тоже было бесплатным, а лекарства доступными по цене. Ну, естественно, в конечном итоге все расходы, которые несло государство, оплачивал сам народ, но если все социальные льготы приплюсовать к сравнительно небольшим зарплатам, которые получали советские инженеры и служащие, то сегодняшняя сумма в 30 тысяч рублей покажется нищенской.

Вместе с тем, в стране существовали непримиримые противоречия, которые скрыть было невозможно. Нас постоянно трясло от дефицита. Не хватало продуктов питания, не хватало модной одежды, мебели, приборов бытовой тех-

ники. За колбасой жители близлежащих городов ездили в Москву, за коврами стояли месяцами в очереди, вставая до света, чтобы отметить. За отсутствием холодильников в зимний период за форточками в домах сплошь и рядом висели сетки со скоропортящимися продуктами. Невозможно было просто так выехать за рубеж, потому что требовалось разрешение месткома, профкома, парткома. А если с вами на улице заговаривали иностранцы, это привлекало внимание соответствующих органов.

При тоталитарном режиме строились московские высотки, с роскошью оформлялись своды станций Метро, а входы в них были величественны как храмы. Но вместе с этим отсутствовало массовое жилье, и люди в большинстве своем ютились в бараках и коммуналках.

Недаром наряду с официальной культурой стали появляться очаги с неофициальной культурой. Это и квартирные выставки, и развитие самиздата в 70—80-е гг. Но стремления обратиться к широким массам кончались репрессиями со стороны властей. Вспомним «бульдозерную выставку» 1974 г. или историю с альманахом «Метрополь» (1979 г.), большинство авторов которого попало под негласный запрет.

Но, несмотря на тоталитарность, тотальным контроль быть не мог. Может быть, поэтому часто спорят, «был ли вообще такой метод как «социалистический реализм».

Наступили новые времена. Россия пережила перестройку

и вступила в новый исторический период. Но времена меняются, а люди, в сущности своей, остаются теми же людьми со всеми их достоинствами и недостатками, и, например, тема «свекровь-невестка» (рассказ «К сыну», типичной житейской истории, где нет правых и виноватых) так же вечна, как тема «отцов и детей» («Как здоровье, батя?», где главная беда – разврат пьянства, безделья, грубости, жадной бесцеремонности, жестокости поколений, произведенных «эпохой застоя»).

Вся разница в том, что эти люди живут в других условиях, времени, которое принято называть «доперестроечным», и весь их быт и поведение определяются и подчинены этим условиям.

«Нищая» Паша

Бабушка Паша жила одна в маленькой комнатке с коридорчиком, приспособленным под кухню, где на ветхом кухонном столе стояла покрытая копотью керосинка. На этой керосинке она варила свой нехитрый старушечий обед, чаще всего молочную вермишель. Дом, в котором она жила, был ветхий, его давно уже нужно было снести, и он был определен, как подлежащий сносу, но у исполкома никак не доходили до этого дома руки, и он стоял, облезлый и покосившийся. И бабушка Паша была такая же ветхая, как дом, в котором она жила, и помнила еще помещика, хозяина этого дома. Тогда дом был иной, с прямым фасадом, выкрашенным зеленой масляной краской, и под железной кровлей, радующей глаз ярким суриком.

Из той своей жизни бабушка Паша видела неясные и причудливые сны. Но видела она себя в этих снах как бы со стороны и все, что было давным-давно, казалось, было не с ней, а с кем-то другим. Сны путались, и перед ней предстával вместе с погибшим в гражданскую мужем Семеном батюшка Успенской церкви, куда она ходила молиться, отец Борис.

Но чаще видела сына, убитого в первый же год войны, после чего ополоумела от горя и сразу же стала старухой. Он снился мальчиком. Он протягивал к ней руки, а она, опять же посторонняя, никак не могла дотянуться до него.



Старушки богомолки, когда она рассказывала этот сон, со значением говорили, что это господь дает знамение, к себе призовет скоро.

– Да, уж скорей бы, господи! – вздыхала бабушка Паша,

не потому что в самом деле считала, что пришла пора помирать, а чтобы не гневить господ.

За сына она получала двадцать шесть рублей пенсии. Соседка Мотя советовала похлопотать насчет прибавки. Как-никак, и муж, и сын головы за советскую власть сложили. Но хлопотать было некому, да и документов никаких, кроме двух писем от сына, да похоронки, не было. И бабушка Паша обходилась так.

Полного достатка она никогда не знала. Озарилось было счастьем ее житье, когда Семена встретила, да не ей, видно, оно было предназначено, не в тот дом залетело и, войной обернувшись, оторвало от мужа, не дав к нему привыкнуть как следует, разбив все слаженное вдребезги. Осталась вдовой Прасковья с плотью и кровью Семеновой, годовалым сыном. Она ни у кого ничего не просила, но ей всегда подавали. И принимая пятак, яблоко или кусок пирога, старые боты или поношенную кофту, униженно кланялась и благодарила от себя и от имени господ, обещая его милость, будто он был ее родственником.

Привыкшая всегда и на всем экономить и отказывать себе во всем, она незаметно стала скупой. Покупала в основном молоко да хлеб, на что хватало с гаком пятаков, которые ей подавали. И ее поразительная и порой отталкивающая скупость превратила ее, по существу, в нищенку. То, что иногда перепадало ей из старой ношенной одежды, она ухитрялась куда-то сбывать и оставляла себе лишь малое из пожалован-

ного, самое добротное и нужное, да и то прятала в сундук, предпочитая носить когда-то бывшее черным и давно потерявшее цвет сатиновое платье, высокие стоптанные ботинки «румынки», модные в двадцатых и пятидесятых годах, копия «цыганок», в которых щеголяли еще гимназистки, да потертую «плюшку», неизменно пользующуюся спросом у старушек и пожилых колхозниц.

По дороге домой бабушка Паша, откуда бы ни шла, кланялась земле, подбирая щепки, кусочки угля – все, что горело, и таким образом обеспечивала себя топливом и никогда не упускала случая заглянуть в скрытые от глаз углы и кусты в поисках пустых бутылок, и они у нее вечно звякали в облезлой дерматиновой сумке с ручками, обмотанными синей изоляционной лентой...

В церковь она ходила не ко всякой службе, экономя пятиалтынный на свечке и строительстве храма божьего, жертвуя только по большим праздникам, хотя в Бога верила твердо, часто молилась с поклонами и не забывала прочесть «На сон грядущим»: «Огради мя, Господи, силою Честного и Животворящего Твоего Креста и сохрани мя от всякого зла... Милосердия двери отверзи нам, благословенные Богородице; надеющиеся на Тя, да не погибнем, но а избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианского. Господи, помилуй».

В комнате, в углу, у нее висел черный от копоти Николай Угодник, которому она надоела, выпрашивая себе здоровья

и легкой смерти. У матери божьей, святой девы Марии, она не просила ничего, но делилась мелкими заботами, пересказывая уличные склоки, жаловалась на суету мирскую и, вздыхав перед образом, снимала с души злобу, накопившуюся за день.

Выше отца Бориса в мирской жизни она никого не знала. И когда после окончания службы подходила к нему под благословение, робела. Ей казалось, что батюшка читает ее душу как книгу, где видит грехи, которые больше никому не ведомы. Она поспешно прикладывалась к кресту и, получив благословение, спешила отойти, а отойдя, вздыхала с облегчением.

Так она и жила. Тихо. Уживаясь с людьми и Богом. Ничего ни у кого не просила, ничего никому не давала, разве что благословение Божье, которое давать было просто.

И счет годам бабушка Паша потеряла и дня своего рождения не помнила.

Но умереть она не могла, потому что сын ее лежал в братской могиле, что далеко под Псковом, в селе Дубки, и она еще не плакала на его могиле. И она знала, что не будет ей покоя, пока не съездит на его могилу.

Она берегла память о сыне и носила ее в себе все долгие послевоенные годы. И все эти годы ей не давала покоя мысль о том, что ее сын умирал в чужой стороне и звал ее, а она была далеко, и некому было унять боль, утешить, облегчить его страдания.

Эта мысль жгла ее и терзала сердце, и все чаще в последнее время стало возникать перед ней лицо сына, точно он напоминал ей о себе.

И когда видение становилось особенно навязчивым, она шла в церковь, ставила незапланированную свечку, оставляла поминание и сама молилась за упокой души убиенного раба божьего Михаила.

Однажды, когда бабушка Паша стояла в овощном магазине в очереди, ей стало плохо. Сердце вдруг сдавило невидимой силой так, что она не могла вздохнуть, в глазах потемнело, а ноги подкосились, и она стала опускаться на пол. Она бы упала, но ее успели подхватить под руки, отвели к окну и усадили на ящик.

Когда сердце немного отпустило, и бабушка Паша смогла перевести дух, ее отвели домой. Соседка Мотя дала ей капель и заставила лечь.

Все прошло, но тот случай ее напугал и вдруг поразил догадкой. «Я ж скоро помру, – подумала она, и будто кто подтолкнул ее: – Мне ж к Мише ехать надо»

А когда решилась, будто освободилась от тяжелого бремени, давившего на нее столько лет.

Все хлопоты по поездке взяла на себя Мотя. Она решила сама довезти бабушку Пашу до места и для этого оформила три дня в счет отпуска. В первую очередь Мотя заказала билеты до Пскова, туда и обратно, в жесткий плацкартный вагон...

Поезд отправлялся вечером, а утром бабушка Паша сходила в церковь. Она поставила святым по свечке и не поскупилась на жертвование. Долго молилась, потом попросила благословения у отца Бориса и в этот раз перед ним не оробела.

Вернувшись домой, она достала из сундука чистое белье, черное атласное платье, подаренное ей за то, что она сидела с пятилетней дочкой полковничихи из девятиэтажного дома, черный кружевной платок и стала одеваться.

Когда Мотя, занятая подготовкой к отъезду, заглянула к бабушке Паше, чтобы покормить ее, та неподвижно сидела на кровати, прямая и строгая, во всем черном, уже готовая к отъезду.

Ее застывшее лицо, оттененное черным кружевом, походило на мумию. В нем было что-то пугающее Мотю, и она, прижав к губам пальцы рук, не осмелилась заговорить и, поколебавшись чуть, позвала тихо: «Бабушка!»

Глаза бабушки Паши моргнули, и она чуть повернула голову, давая знать, что слышит.

– Скоро ехать. Надо б поесть перед дорогой.

Бабушка Паша послушно встала и пошла за Мотей, но когда сели за стол, выпила только два стакана чая вприкуску с кусочком «пиленого» сахара...

Ехали почти сутки. На остановках не выходили. Только раза два Мотя попросила попутчицу, молодую женщину, купить сладкой газированной воды, а так, поесть они взяли

с собой, а больше ничего было и не нужно. Ночью Мотя спала, а бабушка Паша, несмотря на уговоры, от постели отказалась и всю ночь продремала за столиком, положив голову на руки. И все ощупывала деньги, зашитые в подол нижней рубахи. По этой причине и не ложилась, боялась, что как только уснет, деньги обязательно утащат.

От Пскова до Дубков их вез маршрутный автобус.

Народу в автобусе было много, но их посадили, уступив место. Здесь ехали все свои, дубковские, и бабушка Паша с Мотей оказались в центре внимания. На них посматривали с любопытством. Первой не выдержала пожилая женщина в цветастом платочке и вежливо поинтересовалась:

– Извиняюсь, вы чьи ж будете?

– Она к сыну едет. Похоронен он у вас, – поспешила объяснить Мотя и посчитала нужным добавить:

– В войну погиб.

В автобусе стало тихо.

– Видать, никого в Дубках родни-то нет? – спросила та же пожилая женщина.

– Нет, милая, – ответила бабушка Паша.

– Ну, значит, прямо ко мне! – решила женщина и назвалась:

– Зовут меня Мария Ивановна. Можно теткой Марье, все так кличут.

Заговорили про войну. Нашлись люди, которые помнили бой за Псков и оккупацию. Бабушка Паша жадно слушала,

потом спросила про могилу. Ей сказали, что за могилой ухаживают пионеры.

Прямо с автобуса пошли к Марье.

Ночью бабушка Паша спала плохо. Все ворочалась и никак не могла дожидаться рассвета. Встала рано и стала ждать, когда проснется Мотя.

К завтраку, несмотря на потчевания Марьи, не притронулась. Ее уже всю захватила мысль о свидании с сыном. Сердце глухо билось в груди, и в душе поднималась и росла неясная тревога.

Братская могила находилась на краю села, в стороне от дороги. Всякий, кто входил или въезжал в Дубки, видел на холме небольшой деревянный памятник, обнесенный таким же деревянным частоколом, покрашенным синей масляной краской.

Когда подходили к могиле, у бабушки Паши стали подкашиваться ноги, и она, впадая в полуобморочное состояние, почти повисла на Моте, и ее подхватила с другой стороны Марья.

Но за изгородью бабушка Паша высвободила руки и, оттолкнув Мотю, повалилась на травяной холмик и завывала, запричитала. В голос. Жутко. До мороза в коже. Выплакивая последние слезы.

Она жаловалась сыну на свое сиротское житье, на одиночество. Она жалела сына и жалела себя без него. Она кляла судьбу за то, что она, старуха, все еще живет, а он, которо-

му жить да жить, лежит в земле... И тут только Мотя поняла, как тяжело жилось бабушке Паше, и она почувствовала неловкость оттого, что не всегда могла помочь ей. А бабушка Паша все причитала, и плач ее разносился далеко окрест... И уже на краю села собрались люди. Они стояли молча, сочувствуя горю матери и чтя чужую память.

Мотя несколько раз подходила к распластанной бабушке, пытаясь поднять ее, и все уговаривала:

– Ну хватит, бабушк. Вставай. Пойдем, хватит.

Та цеплялась за траву, и ее никак не могли оторвать от могилы. Наконец, вдвоем с Марьей они оттащили ее и силой увели за ограду. Бабушка Паша совершенно обессилила, и Мотя с Марьей почти несли ее. Люди расступились и сочувственно смотрели на бабушку. Женщины плакали...

Днем к Марье зашел председатель колхоза, рослый плечистый мужчина с густыми усами и усталыми глазами.

– Здоровы будете! – поздоровался он со всеми.

– Здравствуйте, Василий Степанович! – почтительно ответили хозяева.

Председатель шагнул к бабушке Паше.

– Боев, председатель здешнего колхоза, – представился он. – Слыхал я, мамаша, к сыну приехали. Добро. Побудьте у нас, погостите. Если нужно чем помочь, не стесняйтесь. Люди у нас добрые, приветливые.

Он посмотрел на Марью и ее мужа.

– Спасибо вам. Мы сегодня едем. У нас билеты на поезд, –

сказала Мотя.

– Чего ж так спешите-то? – спросил председатель.

– А плоха я теперь, сынок... Домой поспешать надо. Теперь смерти ждать буду.

– Ну что вы, мамаша... Рано вам о смерти говорить...

Председатель смущенно кашлянул.

– Во сколько поезд-то?... Вечером? Так я вам машину пришлю. Довезет до города.

– Спасибо, сынок. Дай тебе Господь здоровья, – Бабушка Паша перекрестилась и низко поклонилась.

Когда председательская «Победа» доставила женщин к вокзалу, шофер достал из багажника корзину с яблоками и передал Моте.

– Это бабушке от Василия Степановича, – пояснил он. – Просил передать.

Шофер помог им сесть в вагон и уехал.

В дороге бабушка Паша ничего не ела, хотя Марья собрала им в дорогу большой сверток: здесь была и курица, и пирожки, и даже бутылка молока. Она сидела безучастная ко всему и, когда Мотя обращалась к ней с чем-нибудь, она силилась и не могла понять, чего та от нее хочет.

Что-то вдруг надломилось в ней. Она вдруг стала говорить про какие-то деньги на памятник, который нужно поставить на месте деревянного. Впадала в забытие, а потом опять вспоминала про деньги. Мотя не обращала на эти слова внимания. Она видела, что бабушка Паша совсем плоха

и боялась, что не довезет ее до дома, и когда приехали наконец домой, она вздохнула с облегчением...

Оказавшись в своей комнате, бабушка Паша почувствовала себя плохо. Ноги не слушались, и хотелось поскорее лечь. У нее хватило сил по стенке добраться до кровати...

И не было ангелов, и не покидала душа тело. Она даже не успела понять, что умирает. Сердце сделало последний, какой-то судорожный толчок, тело дернулось и замерло. Но мозг некоторое время еще продолжал работать, и сознание успело отметить расплывающуюся пустоту и телесную легкость...

На следующий день после похорон у колонки разговаривали две соседки.

– Ты ведь знаешь, Шур, что вчера бабушку Пашу похоронили? – спросила одна.

– Да как же, Тонь! – ответила Шура. – Сама пятерку на похороны давала, когда по соседям деньги собирали.

– Спасибо Моте, побегала. Гроб дядя Коля бесплатно сколотил, за одну выпивку. Немного собес помог. Ну, помянули потом. Мужики, которые гроб несли. Дядя Коля, Шалыгин, еще мужики.

– Да уж беднее бабы Паши не было! – согласилась Шура. – Царство ей небесное!

– Да в том то и дело, Шур! Ты знаешь, сколько у нее в матрасе нашли?

– Тоня выдержала паузу и с какой-то злой радостью вы-

дохнула: – Пять тыщ!

– Да ты что? – испугалась Шура, и у нее округлились глаза.

– Вот тебе и что! Стали разбирать вещи. А какие там вещи? Все на выброс. Мотя думала, может, что взять себе, да что там! Одно тряпье. Матрас и тот обветшал. Хотели выбросить, да что-то зашуршало. Мотя пощупала, вроде бумага. Надорвали материю, а она и расползлась, гнилая, да и повалились деньги. Больше пятерки и тридцатки, но были и сотни.

– Вот тебе и нищая!

– Все жадность наша. Хотя б отказала кому, хоть бы и Моте. Сколько Мотя для нее сделала?! А то так, никому.

– Так Мотя и взяла бы.

– Да нет, Шур, там же не одна Мотя была. Да и муж у Моти милиционер. Не дал бы. Не положено.

– Да и то правда. Чужое руки жжет. Потом как жить? Совесть замучает, – согласилась Шура.

– А, может, что и взяла, – словно не слыша и думая о чем-то своем, сказала Тоня.

Орёл, 1960 т.

Хозяйка

В четыре часа прямоугольничек окна стал светлеть, и в комнате начали вырисовываться стены с облезлыми обоями и застекленными рамками, набитыми фотокарточками, а вскоре можно было различить уже всю обстановку: круглый раскладной стол, застеленный клеенкой и покрытый кружевной скатертью; старый двухстворчатый шифоньер со стеклянным окошечком в бельевом отделении. Окошечко это было заставлено изнутри репродукцией из журнала «Огонек», подвернутой по размерам стекла так, что видны были только лица трех мальчиков, впряженных в сани, и их напряженные фигуры до ног.

Стулья в квартире были простые и крепкие, отремонтированные и посаженные на клей самим хозяином Федором, мужиком мастеровым, рукастым. У стены против окна стояла железная, выкрашенная синим цветом, кровать с облупившимися никелированными шарами на спинках. Над кроватью висел вытертый и блеклый ковер, очевидно когда-то лежавший на полу, и увеличенный, тоже в застекленной рамке, портрет молодых хозяина и хозяйки.

Оба небольшого, почти одинакового, роста, но он чуть покрупней, задиристый, раскоряченный в коленках, в лихо сдвинутом набок картузе, из-под которого вываливаются кольца завитого чуба, в костюме с брюками, заправленными

ми в сапоги, сдвинутыми в гармошку, в вышитой рубашке и с цветком в петлице пиджака. Она вложила свою руку в его, поставленную кренделем, и доверчивой телушкой смотрит в объектив.

На ней цветастое крепдешинное платье с приподнятыми плечиками по моде послевоенных лет, черные лакированные туфли и белые носочки. Волосы зачесаны за уши и уложены заколками, а завитые концы спадают с затылка и касаются плеч.

Под этим портретом спят его обладатели и хозяева этой комнаты, сараев, закутков.

Катя спала свернувшись калачиком, поджав ноги к животу и подложив одну руку под голову, другую спрятав в коленках. Дыхание ее было беспокойным и тихим. Так спят люди слабые, неуверенные в себе.

Когда первый лучик солнца робко заглянул в окно, и солнце вдруг полезло за ним, медленно заполняя комнату, растекаясь по ней, словно убежавшая квашня, появилось беспокойство. Оно давило мучительно, и сны последних минут были тяжелыми и несуразными, как при недуге.

Беспокойство росло и уже тревогой стало впиваться в мозг. И тогда Катя проснулась...

И сразу засуетились, заспешила. Быстро натянула заштопанную, давно потерявшую свой цвет, сатиновую юбку, застиранную ситцевую кофту, сунула ноги в стоптанные туфли и, наскоро сполоснув лицо, забегала, хлопотала по дому.

Прежде всего включила газ и поставила греть пойло Милке, которая уже нетерпеливо мычала в хлеву. За это время успела прибраться в доме. Накормив и подоив корову, она взяла метлу и совок и заспешила на свой участок, где работала дворником от домоуправления. А закончив работу здесь, она сбегала домой, собрала надоенное молоко в бидон и стала разносить по клиентам, приурочивая время, когда все уже встали и собирались на работу.

И только потом, взяв пустые ведра, она пошла по улицам собирать пищевые отходы. Ведра звякали, полы мужского офицерского кителя развевались и мешали ей, но она не обращала на это внимания, поглощенная одной заботой – набрать побольше отходов, чтобы накормить своих свиней.

Обтрепанный шерстяной платок, большие резиновые сапоги, хлюпающие на ногах, делали ее несуразной и жалкой.

Обход она всегда начинала с другого конца улицы Разградской, с пятидесят шестого дома, где жила семидесятилетняя голубятница Раечка. Раечка держала голубей всю жизнь, и ее знали все приличные голубятники города. Ее шикарная голубятня, обитая железом, стояла на четырех высоченных металлических столбах и была видна всей улице.

Еще подходя к Раечкиному дому, Катя услышала свист. Открыв калитку, она увидела, что Раечка стоит с шестом в руках, к концу которого привязана тряпка, и пугает голубей. Голуби бабочками невысоко вспархивали над голубятней и снова пытались сесть на конек крыши, но Раечка рез-

ким пронзительным свистом и шестом поднимала их в воздух, не давая сесть, и краснопегие, чиграши, почтари, бабочные наконец взвились стаей и ушли в сторону, набирая высоту.

Даже Катя на секунду забыла о своих заботах и, прикрыв глаза ладонью, задрала голову кверху.

На заборе показалась стриженная голова и, пропев: «Раечка, чужак над нами, копни штанами», моментально исчезла. Раечка, угрожающе подняв шест, бросилась к забору. Раздался дробный топот мальчишеских ног, и Раечка, усмехнувшись, беззлобно сказала, прислоняя шест к голубятне: «Пацаны».

У Раечки Катя перелила в ведро из кастрюли прокисший суп, высыпала плесневые куски хлеба и заспешила в пятьдесят первый дом к старой деве Марии Семеновне, которая жила с братом, таким же стариком, вдовцом Николаем Семеновичем. Совсем недавно умерла их девяностатрехлетняя мать, выжившая из ума старуха, и они с облегчением вздохнули, потому что мать регулярно поджигала дом или открывала газ. В остальное же время она сидела на крыльце и разговаривала сама с собой вслух, уделяя основное внимание детям, которых зло ругала матерными словами.

Мария Семеновна копила для Кати очистки, собирала корки хлеба, огрызки, накапливая солидную порцию отходов, потому что Катя осенью, когда резали поросенка, благодарила Марию Семеновну хорошим куском мяса и шматом

сала.

– Пришла? – сказала Мария Семеновна строго, открывая двери на стук.

– Да вот все так вот, – сразу теряясь, и от этого невольно выпала Катя. Она всегда робела перед ворчливым и холодным голосом Марии Семеновны и, стараясь угодить, заискивала перед ней. Марии Семеновне это нравилось, и она охотно учила Катю, давая ей советы, касающиеся совместного проживания с мужем, участвовала в обсуждении семейных проблем, умело выпытывая домашние секреты, и получала от этого большое удовольствие.

– То-то, что так вот, – переговорила Мария Семеновна. – Федька—то опять пьяный был вчера?

– Выпил немного, – подтвердила Катя.

– Да где ж немного, если до колонки на корячках дополз, да никак воду пустить не мог?

«Ведьма, ничего не пропустит, все знает», – безразлично подумала Катя, но вслух согласилась, подлаживаясь под Марию Семеновну.

«Ишь ты, какая скорая. Своего заводи, и показывай свои парткомы», – согласно кивая головой, с обидой подумала Ката, и злорадная мысль заставила усмехнуться про себя: «На кого нарвалась, а то он тебя выучил бы. Не жила еще»

– А то травы какой подмешала: как выпьет, так скорчило бы, света белого не взвидел бы.

Катя промолчала, но вздохнула, будто соглашаясь. Вроде

невзначай она звякнула ведром – может, Мария Семеновна вспомнит о деле, но та вдруг переключилась на другое.

– У Сашки-то припадки давно были? – спросила она про семнадцатилетнего Катиного сына, страдавшего от эпилепсии.

– Ой, как бы ни сглазить, пока Бог милует.

Катя поплевала в сторону левого плеча.

– Ты смотри, – Мария Семеновна понизила голос до шепота. – Он возле Симки-дурочки ходит. Как бы чего не вышло. Симке-то, даром что пятнадцать лет, а чувства уже все бабьи имеет. К мужикам ее тянет. И вытворять стала что зря. То подол задерет перед ребятами. А вчера пэтэушника за срамное место схватила. Тот с перепугу на всю улицу орал. Думали, повредила что. Мать Симку секла и дома заперла. Да ведь вечно держать взаперти не будешь.

– Ой, господи, – перепугалась Катя. – Избави бог. Уж я ему, паразиту окаянному, выдам по первое число. Вот наказание-то.

Не на шутку встревоженная, она еще долго охала, пока Мария Семеновна доставала и вываливала в ведро собранные ею отходы.

В проходном дворе тридцать четвертого дома Катю поджидали собаки, которых там было несколько. Они всегда поджидали ее у ворот и, когда она появлялась, дружно набрасывались, исходясь в злобном брехе, пытаясь подобраться к пяткам или ухватить за полу кителя, но укусить не ре-

шались. То ли боялись ведра, то ли из-за чего другого. Вполне вероятно, например, что они просто снимали за Кате свое собачье напряжение или это была своеобразная разминка, тренировка собачьих высших качеств, – голоса и отваги. Это продолжалось из года в год. И хотя одни собаки куда-то время от времени исчезали, другие занимали их место, и объект передавался, словно эстафета.

Катя рысью пробежала через двор, привычно отмахиваясь от собак, и только раз остановилась, когда нахальная дворняга Мушка, с залиvistым лаем подкатилась под ноги. Катя успела зацепить ее ногой, и Мушка, завизжав больше от страха, чем от боли, отлетела в сторону.

Катя юркнула в двери Кустихиной квартиры.

– Развели псарню, – ворчливо посочувствовала Кустиха. – Людям проходу не дают. Боишься из квартиры выйти. А дети с этими собаками целый день возятся. Куда только родители смотрят!

– Не кусаются! – передразнила кого-то Кустиха. – Что ж, что не кусаются. А укусит? Что тогда? ... Ну-ка, за хвост потяни, как Колька вчера. Это надо сообразить, чтоб Пирата за хвост ухватить. Его же, черта страшного, все собаки боятся... Если бы моя воля, я бы всех собак на мыло извела. Бегают без присмотра? Нет хозяина? В кутузку.

Между тем, Кустихины кошки, которых у нее было четыре, лазили по кухонному столу и обнюхивали кастрюли, ни-сколько не обращая внимания на хозяйку.

Назад Катя шла такой же рысью. Ведра были почти полные, и замахнуться ими было нелегко, поэтому она действовала больше словами:

– Пошли прочь! А ну пошли... Ишь, твари поганые! Чисто китайцы, прости меня, Господи!

Она покрикивала на собак басом, считая, что так их лучше отпугнет, но собак ее голос раздражал и распалял еще больше, и они, выведя ее на улицу, еще долго провожали, а потом брехали вслед.

Согнувшись под тяжестью ведра, мельча шаг, как беременная сучка Берта, Катя потащила свою ношу домой.

Раньше она успевала сбегать в пятиэтажный дом и набрать ещё пару ведер из бачков для пищевых отходов, которые стояли там на каждом этаже, до того как эти отходы увозили в контейнерах на спецмашине. Но после того как поскандалила со своей бывшей соседкой, Зинкой Письман, неизвестно каким способом получившей с мужем, парикмахером Ароном, квартиру в новом пятиэтажном доме, ход ей туда был заказан.

Началось с того, что Зинка застала ее, когда она выгробала отходы из бачка в свое ведро.

– Уже и здесь поспела? – ехидно заметила Зинка.

Кате промолчать бы, но ее задела эти слова, и она сказала вроде про себя:

– Нам пенсий не начисляют.

Намек был куда как прозрачен. Зинка, сроду нигде не ра-

ботавшая, когда строился дом, нанялась сторожить стройку. На стройке лежали штабеля досок и стояла циркулярная пила. Зинка, подворовывая ночью доски, пользовалась этой пилой, перепиливая их на две части.

Работа с циркулярной пилой требовала определенной сноровки. И Зинка такую сноровку выработала. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Доску повело, и пила циркнула по руке, смахнув два пальца на левой руке. А через некоторое время она стала получать пенсию по инвалидности.

Это Катя и имела в виду.

Зинка взорвалась немедленно:

– Ах ты барахло! Вы только посмотрите на эту дуру. Она завидует моей пенсии. Да у тебя в чулке больше, чем у директора мясного магазина на сберкнижке. Ты же по пять поросят выкармливаешь. Даром, что как нищая в тряпье ходишь.

– Зато ты вся в золоте ходишь, – теперь уже напропалую пошла Катя. – Сонька расползлась не хуже того поросенка, вот-вот лопнет. И один Арон работает...

– Вон отсюда, паскудина, – не вынесла этого Зинка. – А ну-ка, вываливай все назад. Ходит, выгребает... Для нее здесь бачки поставлены.

– Чтоб тебе подавиться этими объедками! На, ешь! – сразу осевшим голосом выкрикнула Катя и, теряя голову от полыхнувшей ярости, опрокинула ведро не в бачок, а рядом, прямо на площадку. И вдруг, сообразив, что это может пло-

хо кончится, быстро пошла к выходу. Зинка охнула и стала по рыби ловить ртом воздух, не находя слов для выражения возмущения, и только когда Катя была уже на улице, бросилась за ней и крикнула вслед:

– Ну, тварь, чтоб твоей ноги здесь больше не было! И близко не смей подходить к этому дому!

На это Катя показала ей зад, похлопав по нему ладонью.

Когда Катя прибежала домой, Федор уже встал и ждал ее, голодный и злой.

– Где тебя леший носит? – набросился он на жену. – Давай завтракать, мне сегодня пораньше надо... С ведрами могла бы и после сбегать.

Катя не стала объяснять что «после» бежать тоже придется. Чего молоть языком зря. Ему это также нужно, как свиные Машке сдобные булки.

«А пожрать мог бы и сам взять», – беззлобно отметила Катя, но вслух сказать этого не решилась.

– Сейчас, сейчас, – примирительной скороговоркой забубнила она и стала торопливо ставить кастрюли на плиту и накрывать на стол. Федор завтракал также плотно, как обедал. А поэтому Катя разогревала ему вчерашний суп, подавала картошку с котлетами. Готовила Катя добротно и кормила семью сытно. Разносолами стол не разнообразила, но жаловаться было грех. Суп, борщ или щи были на крутом мясном бульоне, к картошке или макаронам подавались домашние котлеты, а соленые помидоры, соленые огурцы и ка-

пуста всегда стояли на столе в поливных мисках и были хороши до чрезвычайности, потому что засаливались в дубовых бочках и хранились в глубоком погребе, вырытом и зацементированном самим Федором.

Отправив Федора на работу, Катя разбудила Сашку. покормила и отправила на пустырь резать траву для кроликов, которых она держала до полусотни штук, а сама стала мешать свиньям варево в большой бадье.

Сашка матери был жалок, хотя она с ним особо и не церемонилась, и он у нее волчком вертелся по хозяйству, вполне заменяя работника.

В школу Сашка не ходил уже три года. В седьмом классе у него участились припадки эпилепсии, и врачи учиться дальше запретили. В конце года ему без экзаменов выдали свидетельство об окончании семилетки, и больше он в школу не пошел.

Припадки у него начались лет с пяти, после того как покусала собака, их сторожевая дворняга Лайка. Лайка только ошенилась и никого не подпускала к щенкам. Сашка полез гладить их, и Лайка, никогда до этого не трогавшая своих, словно взбесившись, вдруг ощерилась и с яростью вцепилась в него зубами.

Лайку Федор пристрелил из охотничьего ружья, а щенков утопил, и больше собак не заводили.

Накормив свиней и дав корм кроликам, Катя взяла пустые ведра и снова пошла по дворам. Наполняя свои ведра, она

попутно сбегала за хлебом тетке Оле, которая жила вдвоем с сыном-бобылем, горьким пьяницей Толей, наносила воды из колонки бабушке Полине; кому помогла вытрясти половики, кому вынести помои. А часам к двенадцати была уже дома. Сашка успел нарезать травы и ждал ее, стоя у калитки. Был он такой же малорослый как отец, но из-за худобы похож был на семиклассника, и дать ему можно было лет четырнадцать-тринадцать, несмотря на полные семнадцать, И был он прыщав и рыж. Катя увидела его тонкую фигуру, сиротливо жавшуюся к стояку калитки, издалека, и сердце заныло от жалости.

Но дома, когда посадила Сашку за стол обедать, вспомнила слова Марии Семеновны и строго спросила:

– Ты зачем к Симке-дурочке лезешь?

Сашка густо покраснел, и веснушки исчезли, будто стерлись с лица.

– Кто лезет-то? – буркнул Сашка.

– Кто, – передразнила Катя. – Дед Пихто, вот кто. Смотри мне. Если еще услышу, батьке скажу – он тебя выдерет. Не посмотрит, что хворый.

Сашка молча ел, уткнувшись в тарелку.

– Завтра сходишь за меня на участок, поработаешь, – сказала чуть погодя Катя и сочла нужным пояснить:

– Мы с отцом засветло поедem в район за отрубями. Дядя Коля на машине заедет. Его за стульями на мебельную фабрику посылают, а там на мелькомбинате у него сродственник

работает. Отец завтра отгул берет. – И посмотрела на сына, понял ли.

– Помыв посуду, Катя почистила картошку и поставила варить мясо для бульона, угадывая, чтобы обед поспел к приходу Федора.

И опять закружилась, завертелась. Обобрала на огороде огурцы и сняла покрасневшие помидоры, простирнула и развесила бельевую мелочь: майки, тряпки, полотенца; постирала рубашки Федору и Сашке, успела накормить скотину и, выключив, наконец, плиту, села ждать мужа, а чтобы не сидеть без дела, отобрала для штопки носки и, работая иглой, поглядывала на часы.

Но время шло, а Федора все не было. Катя успела перештопать носки, попришила пуговицы на рубашках, покормила Сашку и раза два выскакивала на улицу, высматривая мужа. Когда же часы показали семь, она знала, что Федор придет пьяным.

Действительно, минут через двадцать в дверь просунулась соседка Мотя и сообщила:

– Кать, там твоего ведут.

Катя торопливо встала и пошла встречать мужа.

Федора вели приятели. Вели серединой улицы, поддерживая под руки с двух сторон. Шли они молча, сосредоточенно выбирая дорогу, стараясь обойти рытвины и выбоины. Были они в той стадии, когда все внимание направлено на ноги, а мозг выполняет только одну работу, не дает упасть, удерживает.

живает на ногах.

Федор безвольно висел на друзьях, закатывая глаза, и от натужного усилия согнать дурь, скрипел зубами. Но ближе к дому сделал вдруг отчаянное усилие, пытаясь высвободиться из рук своих приятелей, и те, потеряв равновесие, упали вместе с ним.

Поднялись и с пьяной решимостью довести друга до самого дома упорно пытались снова взять Федора за руки, но Федору это не понравилось, и он, вдруг обидевшись, неожиданно ударил в лицо своего приятеля. Тот удивленно охнул и, не раздумывая, ответил сильным тычком в зубы. Федор повалился и, матерясь, силился встать на четвереньки, но приятель, не давая ему подняться на ноги, завалил и начал пинать ногами, ладясь угодить под ребра. Сразу оторвалась от ворот и коршуном налетела на него Катя. Она стала оттаскивать его от Федора, колотя кулаками по спине и пытаясь дотянуться до волос. Другой приятель долго не мог взять в толк, что происходит, а потом бросился отнимать своего товарища у Кати, и скоро они ушли, оставив Федора на земле. Ему никак не удавалось подняться. Катя помогала ему и причитала на всю улицу:

– Ой, убили. Убили, бандиты окаянные!

У колонки столпились старухи с ведрами, и вокруг собирались прохожие. Кто с сочувствием, кто с любопытством, а кто и с откровенным удовольствием смотрели на дармовое представление и с нетерпением ждали, чем этот спектакль

кончится.

Помог Кате Ольгин сын. Он поднял Федора и вместе с Катей отвел в дом.

Дома Катя раздела мужа, подвела к рукомойнику и, сливая из кружки воду, смыла кровь с разбитой губы и умыла.

Он держался руками за край умывальника и что-то невнятно бормотал.

За столом его окончательно развезло, и он сидел с полужакрытыми глазами и, едва попадая ложкой в рот, проливал щи на себя. Вид у него при этом был идиотский. Он сидел за столом в трусах и майке, залитой водой и щами. Глаза бессмысленно лупились, когда он широко их открывал, точно хотел и не мог понять, где находится.

Щи он не доел и полез из-за стола. Вдруг на него напала икота. Она его сотрясала, и он дергался, будто его с равными промежутками тыкали кулаком в спину. При этом голова его откидывалась назад.

Катя дала ему выпить воды и повела к кровати. Через минуту Федор захрапел.

Сашка чистил закуток, где содержались свиньи, и в дом доносилось похрюкивание и хозяйственный тенорок Сашки, сгоняющего скотину с места.

Катя сидела на стуле, прислонившись к спинке и положив тяжелые, перетянутые синими жилами и изъеденные содой, руки на колени.

Она, наконец, могла перевести дух и посидеть молча, ни-

чего не делая, никому не прислуживая. И хотя лицо ее выражало усталость, на губах плавала робкая улыбка.

Катя думала о том, как они завтра чуть свет поедут в район, как в районе, пока Федор с Николаем будут хлопотать по делам, она сходит в промтоварный магазин и пройдет-ся по райцентру, а потом они будут ужинать у Николаевых сродственников. Мужики выпьют. Выпьют и они с хозяйкой Глафирой по лафитничку, а потом, уложив мужиков и перемыв посуду, допоздна проговорят с ней про житье-бытье и уснут довольные, освободившись от непомерного груза тайных бабьих дум и сбросив на какое-то время утомительную тяжесть ежедневной суеты...

И легкое подобие счастья радугой расцветило ее душу.

На сердце было легко и спокойно.

Орёл, 1983 г.

Василина

– Вези матку к Катьке, – сказала Зинаида мужу, когда они легли спать. – Пусть у нее поживет.

– Что так? – удивился Николай.

– А сил никаких моих больше нет. Уже что зря вытворять стала.

Зинка приподнялась на локте, пытаясь в темноте определить выражение лица мужа.

– Опять кастрюлю с супом перевернула... Тряпку на плиту положила, а конфорка горела. Никак не пойму, откуда гарь идет. Глядь – тряпка горит.

Зинаида проглотила слюну, пытаясь справиться с обидой, комком застрявшей в горле. Не справилась и сквозь слезы добавила:

– Тарелки. Все тарелки перегрохала.

Николай нашарил на тумбочке папиросы и, чиркнув спичкой, закурил.

Свет на мгновение ослепил Зинаиду, и она закрыла глаза.

Хорошо взбитая перина нежила расслабленное тело, и резче обозначалась усталость, а мозг требовал сна, но взвинченные нервы не давали покоя, и Зинаида не оставляла свою навязчивую мысль, вбивая ее в голову мужа:

– Почему все ты? В конце концов, у нее есть еще две дочки. Пусть у них о матке тоже голова болит.

– Квартиру-то мы с матерью получали, – подал, наконец, голос Николай. От сильной затяжки его лицо вспыхнуло красным огоньком и, мелькнув двойным подбородком и мясистым носом, погасло.

– А на двух детей все одно трехкомнатную дали бы, – живо откликнулась Зинаида. – Так что и без матки получили бы.

И замолчала, ожидая, что скажет теперь Николай.

– К Катьке нельзя, – стал сдаваться Николай. – У нее одна комната.

– Ну-к что ж? – повеселела Зинаида. – Не танцы же они там будут устраивать.

– Так Катька-то с мужиком живет, – удивляясь Зинкиной тупости, сказал Николай, поворачивая к ней голову и забывая затянуться папиросой, а она уже еле мерцала нераскуренная.

– А он там не прописан! – бойко ответила Зинаида.

– Для того чтобы с бабой спать прописки не требуется, – осклабился Николай.

Зинка почему-то обиделась, но дулась недолго, потому что надо было доводить дело до конца.

– Тогда к Тоньке, – подумав, решила Зинаида. – У них тоже трехкомнатная.

– Ага, а две девки не в счет? А Верка, племянница Федора, не в счет?.. Между прочим, Валька беременная ходит.

– Да ты что? – засмеялась Зинаида. – В самом деле?

– Ну-у? Тонька мне вчера сама сказала. – И уж, говорит,

сделать ничего нельзя.

– Во, девки пошли! Соплячка ж еще совсем.

– На это ума не надо, – буркнул Николай. – Семнадцать лет по нонешним временам – самый для этого подходящий возраст!

– Сиди, губошлеп, – ткнула мужа в бок Зинаида и поинтересовалась:

– Сказала хоть от кого?

– А чего говорить-то? С кем ходила от того и брюхо.

– Это курсант, милиционер-то этот?

– А то кто же?

– Не отказывается хоть?

– Попробовал бы отказаться, – Николай глухо, как в бочку, кашлянул.

– Уж родителям написали, о свадьбе сговариваются. |

Удовлетворив свое женское любопытство, Зинаида вернулась к старому разговору:

– Так что ж с маткой-то? – спросила она.

– Уж тогда давай к Катьке, – решил Николай. – Катька младшая. Мать ее любит больше всех.

Зинка успокоилась и быстро уснула. Она свернулась как кошка, калачиком, уткнув голову в плечо мужа и обняв его рукой. И в еще некрепком сне сладко причмокивала губами, пухло выпячивая их и невнятно что-то договаривая уже во сне...

Старую Василину донимали ноги и мучала бессонница.

Ноги грызла ревматическая боль. Невестка и дочери называли это отложением солей, а врачиха называла по мудреному, но как не называй, ноги болели, и никакие растирки не в силах были помочь. «Отрезать, да собакам бросить», – шутила Василина, когда ее спрашивали про ноги, сочувствуя.

Она лежала с открытыми глазами и терпеливо ждала, пока сон возьмет ее, но сон не брал и, как всегда, перебирала Василина по кусочкам свою жизнь, не сетуя на судьбу, с покорностью принимая все, что судьба ей назначила, и выживая из этого те крохи счастья, которые на ее долю выпали. И получалось так, что эта скудная доля хорошего заслоняла все плохое, которого было в ее жизни значительно больше.

Прошное мешалось с настоящим.

Вдруг всплыло заросшее лицо батьки Кондрата Сидоровича, угрюмого и свирепого в трезвости, развеселого и щедрого до последней рубахи в пьяном виде, мужика.

Батька вывалился из кабака и пьяно заорал:

– Эй, залетные!



И залетные, ватага деревенских ребятишек, приученных уже дурной Кондратовой причудой, «подавала» с гиком небольшие сани, в которые сами и впрягались, и шумно везла дядьку Кондрата на потеху деревне, возвещая:
– Галеевский царь едет!

«Галеевский царь» важно восседал в санях и царским жестом раздаривал конфеты и пряники, выгребая их из обширных карманов овчинного тулупа и разбрасывая направо и налево.

Вспомнив тот стыд и страх, который они принимали за батьку, Василина горько улыбнулась.

Их дом стоял на пригорке, как-то особняком от деревни. Чтобы подняться к дому, нужно было спуститься в небольшой овражек и пройти по бревну через неширокий ручеек. Невольно Василина снова улыбнулась: сколько раз пьяный батька возвращался с песнями домой, столько раз, оступившись, купался в этом ручье.

Овраг окружал дом с трех сторон; с четвертой стороны, за огородами, было поле, а сбоку, через овраг, сразу за березовой рощицей начинались леса. Брянские леса уходили в необозримую даль, закрывали горизонт, заполняли весь видимый простор.

В лес девки бегали по грибы и ягоды. Спускаясь в овраг, чтобы выйти к березняку на противоположной стороне, они шли протоптанной тропинкой среди зарослей папоротника, который особенно буйствовал у ручья.

От этого оврага тянуло подвальной сыростью, но он ласкал прохладой перегретые солнцем тела и в летний зной был истинно райским уголком, тенистым от густых крон разросшихся кленов с черными бархатными стволами, тонких сочных рябин и пышных, как купчихи, ракит.

Папоротник. Он остался в сердце милой памятью и виделся как спутник детства, свидетель той далекой жизни со всеми ее тревогами и поворотами, которая пролетела мгновенным сном, и иногда ей казалось будто она в этой жизни посторонняя, будто волшебная птица Симуург взмахнула крылом, приоткрыв на миг простор чужой чьей-то жизни, и снова закрыла, завесив ночью и пустотой, словно перечеркнув все, что было.

Папоротник часто снился ей во сне, а иногда тропинка через овраг вставала перед ее полусонными глазами, как на яву, и она ясно видела сочную зелень папоротника, раздвигала его руками, шла через ручей и взбиралась по крутой тропе к березняку. Цветных снов Василина не видела, но папоротник ей снился всегда зеленым.

И снова всплыло вдруг лицо батьки, который сгинул в японскую, оставив трех девок и двух ребят на материнских руках. Кормильцем стал старший брат Пётр.

Комната вдруг осветилась ярким светом. Свет прополз от стенки к стенке, передвинул с места на место тени и пропал. Это машина развернулась во дворе и пробежала фарами по дому. Василина моргнула, защищаясь от неожиданной вспышки, но внезапно полыхнуло огнем и отсветы его, багровые и белые, заплесали перед ее глазами – горел дом помещика Малахова, языки пламени жадно жрали дерево, потрескивали высушенные летним солнцепекотом доски и лопались стекла. Перепачканные сажей ребяташки весело шны-

ряли в толпе взрослых, звонко перекликались и лезли в самый огонь, по неразумению своему радуясь пожару, точно празднику.

Мужики угрюмо смотрели на пылающий дом, зная, что добром это все не кончится. Бабы овцами жались друг к другу, всем нутром чувствуя надвигающуюся беду. Кто-то заголосил, но голос оборвался, как током ударив по натянутым нервам. Даже босоногая ребятня вдруг угомонилась, и тревожная тишина на какую-то минуту повисла над Галеевкой. Только искры рассыпались треском над головами, и шумело пламя над еще не рухнувшей крышей.

Папоротник стал расплываться сплошной зеленью и темной завесой опустился на глаза, обрывая цепь воспоминаний.

Василина было задремала, но где-то над квартирой вдруг взорвалась музыка. И сразу стихла. Только в уши теперь назойливо полезла плясовая.

Без тебя мой дорогой,
Без тебя мой милый,
Без тебя, хороший мой,
Белый свет постылый.

Шумела свадьба. Гуляла деревня. Василина выходила замуж за Тимоху, работающего, но тоже бедного, мужика, способного ко всякому, особенно к плотницкому, делу.

Ставь-ка, мама, самовар,
Золотые чашки,

Приведу я гостя к вам

В вышитой рубашке.

Тимофей пришел жить к ним, и они стали потихоньку строиться на том же холме, рядом с родительским домом.

А через год, когда она родила первого, Федю, деревня опять пьяно плясала, только веселья уже не было. То тут, то там начинала биться в голос будущая вдова. Василине врезался в память пьяный Кирюха. Он ожесточенно бил пяткой, обутой в лапоть, в землю и, поводя руками по сторонам, как-то отчаянно осипшим голосом орал:

Ты не лей по мне, Матрена,

Слезы лишние —

На Ерманскую войну

Гонют тышшами.

А в мутных глазах угадывалась тоска и дрожали слезы.

Изба осталась недостроенной, и Василина часто заходила в свой новый дом, чтобы поплакать без свидетелей, ходила по изрубленным стружкам и молила Бога, чтобы отвел смерть от Тимофея и брата Петра.

Раз в год, на Яна Купалу, папоротник цвел. Если сорвать его ровно в полночь, то откроется клад. Об этом, замирая от страха, рассказывали полушепотом подруги, а раньше Василина слышала об этом от бабушки Фроси, когда собирались у нее на посиделки вечерами, и кто-нибудь заводил упоительно-жуткий разговор о нечистой силе. Говорили, что Васька Ермаков разбогател через цвет папоротника.

Тимоха пришел домой с простреленной ногой. Была задела кость, и нога долго не заживала. Так он и остался хромым. В непогоду нога донимала ноющей болью, словно кто водил по оголенной кости наждаком.

А Петр с войны не вернулся.

Дети пошли один за другим. Сначала Марья, потом Алексей, Иван, Авдотья. Двенадцать человек. Дарья и Авдотья жили отдельно, своими семьями. При ней оставалось четверо: Антонина, Николай, Катя и Юрий, которого она звала Егором. Этих уберегла. Эти были младшие. И всю войну находились при ней, кроме Егора. Егор воевал и вернулся контуженный, но живой.

Четырех отдала фронту, а вернулся только один. Иван и Алексей погибли, один под Сталинградом, другой в чужой стороне, когда уже война шла к концу. На них она получила похоронки. А Петр, первенец, любимый Тимофеев сын, пропал без вести. Но Василина все надеялась и верила, что он жив и мыкает горе в плену. Ждала, пока шла война, и потом ждала, что объявится. И сейчас в глубине души верила, что где-то на чужбине Петр мается, тоскует по Галеевке, не может вернуться, потому что держит его что-то там, и не может он дать весточку, знак о себе. Грунюшку и Васятку унес тиф. Нюра умерла от простуды. Это было давно, еще до рождения Антонины, которой уж, считай, самой за пятьдесят будет.

Но у нее в живых осталось еще шестеро детей. Четверо здесь. Марья, самая старшая, далеко, на Камчатке. Изредка

приходит письмо на Антонину, где Марья спрашивает, жива ли еще мать, и поклон передает. Авдотья, та живет в Запорожье. Тоже пишет, тоже про мать спрашивает.

Василина прикрыла глаза и зашевелила губами, зашептала: «Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша имене Твоего ради. Господи, помилуй».

Прочитав молитву, она забылась в тревожном сне, невольно вздрагивая и просыпаясь от каждого шороха...

На следующий день, в субботу, пока Николай спал, Зинаида собрала свою младшую, Анджелку и отправила в школу. Старшая, Алевтина училась во вторую смену и тоже еще спала. Зинаида стала готовить завтрак. Часов в девять встал Николай, и Зинаида принялась тормошить Алевтину, которая, судя по открытому рту и сладкому посапыванию, спала крепко.

Бабка Василина уже поднялась и сидела в комнате на диване, ожидая, когда ее позовут есть.

За столом Зинаида была не в меру оживлена, старалась угодить Василине и подсовывала ей лучшие куски, но та, казалось, этого не замечала. Она вообще к еде была равнодушна и ела мало, все больше чай, да молоко.

Николай уткнулся в свою тарелку и, не поднимая глаз, с аппетитом уплетал картошку с колбасой, которую Зинка доставала через свою знакомую, буфетчицу Клаву. Зинка по-

няла, что Николай нужного разговора все равно не начнет, и решила это сделать сама.

– Мам, а мам, – весело позвала она. – Что если мы тебя свезем к Катьке? У нее поживешь чуток.

Василина оставила кружку с чаем и захлопала подслеповатыми глазами, сиюсь вникнуть в слова невестки и понять, шутит она или что? Зинка доброжелательно вертелась возле нее и делала вид, что ничего особенного не случилось. Василина вопросительно посмотрела на сына, и тот, поерзав на стуле и неловко откашливаясь, поддержал Зинку, будто разрешил.

– А чего? Поживи. У Нюрки тихо. Сколько уж у нее не была?

Василина молчала и словно чего-то ждала. Николай невольно отвел глаза и, обращаясь к Зинке, поспешно добавил:

– Надоест у Катьки, назад заберем.

Василина, ни слова не проронив, пошла в свой угол, где стояла ее по-детски тощая железная кровать, на которой она часами неподвижно сидела, шевеля губами, занятая своими мыслями. Она вспомнила, что вчера вечером сын с невесткой в разговоре, обрывки которого до нее долетали из спальни, часто поминали ее, и теперь догадывалась, что невестка затеяла этот разговор, кончившийся для нее неприятностью. Но на невестку за это не обижалась, понимала – мешает...

Когда Николай заглянул в детскую, где стояла кровать ма-

тери, он увидел, что мать собирает в узел свои вещи. На кровати лежал образ Николая Угодника, который стоял обычно на шифоньере, в углу, потому что Зинаида вешать икону на стену не разрешала.

На Анджелкином диванчике сидела Алевтина и, насупившись, следила за бабкой. Она покусывала губы, чтобы не зареветь.

Николай, ничего не сказав, повернулся и пошел на кухню, где Зинка мыла посуду.

– Мать укладывается, – сказал он хмуро.

– Сейчас поедем, – не поняв его настроения, бросила Зинка.

– Вроде как-то нехорошо! – сморщился, как от зубной боли, Николай.

– А мне хорошо?

Зинка с силой бросила мокрую тряпку в мойку и в сердцах громыхнула кастрюлей. И вдруг тоненько заскулила, загундосила:

– Тебе, черту, что? Пришел, пожрал – и в свой гараж. Морду кверху в гайки уткнул и лежит. Паразит. Под своей машиной как баба беспутная под мужиком, готов сутками пролеживать. А я дома с маткой твоей. Во все дырки нос сует... И все подкалывает, все с подковырками. Ну-ка, попробуй. Это не так, и то не этак. Она же меня всю жизнь ненавидит. Я знаю... А я ее должна терпеть? Накось вот, выкуси! – сунула она кукиш из гладких, толстых, как сардельки,

пальцев к носу Николая.

Тот столбом стоял посреди кухни и хлопал глазами, даже не пытаясь остановить поток кипящих злобой слов распаленной Зинаиды.

Но когда Зинка сунула ему в нос кукиш, его лицо начало наливаться кровью, и желваки от сильно стиснутых зубов заходили на скулах.

Зинаида спохватилась и, гася мужнину ярость, бросилась ему на грудь, с безошибочной женской интуицией мгновенно определив ту единственную манеру поведения, которая не даст разразиться скандалу, и разрыдалась.

– Ладно! Будет! Будет, – стал успокаивать ее Николай и, снисходительно похлопав по боку, словно телку, отстранил от себя.

– Пойду выведу машину, – сказал он и пошел к вешалке.

– Я ж не враг какой твоей матке, – всхлипывая, заговорила Зинаида. – Пусть хоть с месяц побудет у Нюрки. Дай мне-то передых.

Часам к одиннадцати собрались. Анджелку с собой брать не стали, и она, надув губы, пошла реветь в детскую.

Василину с узлом усадили на заднее сидение, и «Жигули» небесно-голубого цвета мягко покатали по асфальту.

Катерина жила в двухэтажном деревянном доме на втором этаже. Узел тащила Зинаида, а Николай вел мать по шатким ступенькам, поддерживая под руку.

На звонок никто не ответил, и Николай, пошарив под

половиком, достал ключ и открыл дверь. Ждать Катерину не стали и, оставив Василину, уехали.

Осмотревшись и разобрав узел, Василина села на диван. Комната у Катерины была небольшая, но все как у людей. И диван, и зеркало, и на полу красивые дерюжки. Шифоньер отделял диван от Катькиной кровати, которая стояла за дверным выступом, и получалось что-то вроде отдельной спаленки. У Кольки, конечно, побогаче. Василина вспомнила вазу, которую приволокла Зинка и поставила в коридоре, в углу, возле комнаты, где Василина спала с Алевтиной. Когда проходишь мимо, она шатается и глухо звенит, будто грозит-ся. Лишний раз из комнаты не высунешься, чтобы не зацепить, да не разбить. Глаза-то еле видят. А днем девку покормить надо. Маленькая все ж, все подать нужно. Как теперь будут?.. Да вертлявая очень девка-то. Так из рук все и выбывает. А они, руки, и впрямь, что крюки. Вот и выходит, то тарелку, то стакан расшмакаешь. А Зинка, когда придет к обеду, когда нет. Теперь, хошь не хошь, придется ходить каждый день и Анжелку и Алевтинку кормить. Назовут же, прости Господи, басурманским именем. Батюшка и то крестить Анжелку под этим именем отказался. Анной нарек.

Зазвонил звонок, и Василина с крехтом стала подниматься с дивана. Пока она дошла до двери, звонок еще позвонил два раза, сначала коротко и резко, словно бранился, потом нетерпеливо и требовательно.

– Господи, – переполошилась Василина и никак не могла

справиться с замком.

– Мам, ты? – спросила Катерина из-за двери, и в голосе ее было беспокойство.

– Я! Я это, Кать! – поспешила отозваться Василина.

– Ты крути ключ-то в другую сторону, вроде закрываешь. Он, замок, у нас наоборот поставлен, – объяснила Катерина. Замок, наконец, поддался, и дверь открылась.

– Ты как приехала-то? – спросила Катерина.

– Колька на машине привез. Совсем я. Буду у тебя жить теперь.

– Как так?

– А так, что там ненужная стала. Мешаюсь я там.

– Ну, гад ползучий! Ну, жлоб ... – Катерина захлебнулась от возмущения. – А все Зинка, паразитка. Ее это дело.

– Мам, ты что, лежала, что-ли, на диване-то? – бросив взгляд на сбитое покрывало, обиженно сказала Катерина. – Хоть покрывало-то сняла бы.

Василина неловко сползла с насиженного места и устроилась на стуле. Катерина свернула и убрала покрывало в нижний ящик шифоньера.

Сожитель пришел к ночи, когда Василина уже устроилась спать – Катерина постелила ей на диване, – и все вздыхала и ворочалась, приспособливая свои кости к новому месту. Он, по всему видно, был на сильном веселе, потому что фордыбачился, пытался петь, и на кухне что-то гремело и падало, а Катька все уговаривала его и о чем-то просила. Потом

Катерина вела его мимо Василины, придерживая за бок, а он старался идти на цыпочках, приложив палец к губам, будто приказывал себе не шуметь.

В Катькином углу какое-то время слышалась возня, предостерегающий Катькин шепот, и даже отпечатались звонкий шлепок по голому телу; потом все стихло, и Василина услышала мерный храп.

«Тоже Бог счастья не дал, – подумала Василина. – Свой был мужик беспутный. Так от водки и сгорел. И это не мужик. А с другой стороны, как одной? Плохо без мужика-то в доме. Это она по себе знает. Тимофей умер, когда ей, слава Богу, за семьдесят уже было. А как тяжело без него приходилось. А Тимофею жить бы да жить. Все война, будь она проклята. В ключах сколько с коровой простаивал, от немцев прятал!... От этого и помер».

Василина вздохнула, жалея дочку.

К вечеру, к Катиному приходу, она наварила картошек и радовалась, что смогла хоть чем-то помочь дочери.

Ужинать сели вместе. Катерина достала огурцы и разогрела картошку.

За столом Катерина все больше молчала и украдкой поглядывала на мать, словно что-то хотела сказать и не решалась.

– Мам, – сказала она наконец, когда поели, и Катерина стала собирать со стола посуду. – Что, если я тебя отвезу к Тоньке? И не ожидая ответа, заговорила торопливо, объясняя, по-

чему так нужно:

– На время, пока Лешку уговорю. Боится он тебя. Не хочу, говорит, с матерью. А то, говорит, решай сама, как знаешь.

Катерина посмотрела на мать. Та молчала, лицо ее оставалась спокойным, и в глазах не было осуждения, но Катерине стало не по себе.

– Уйдет ведь, – еле слышно сказала она, и в голосе ее была боль и растерянность.

У Василины сердце сжалось от жалости, и она, как умела, успокоила:

– Неруш, дочка! Э-э! Мне хоть тут, хоть там – все одно. Лишь бы крыша над головой, – соврала она. – А ему, оно, конечно. На любого доведись, ну-ка попробуй...

К Антонине ехали на автобусе. На поворотах Василину заводило в стороны, и она моталась на заднем сидении, заваливаясь то на один бок, то на другой. Узелок мешал ей держаться, но она не выпускала его и крепче прижимала к коленкам.

Встретили ее хорошо. Усадили за стол, и зять Федор даже достал бутылку белого, которую почти один и выпил. В разговоре стали ругать Николая за мать.

– Это все Зинка, подлюка. Она им, дураком, как хочет, крутит, а он только бельмами ворочает, как баран дурной, – высказалась Антонина и свирепо глянула на Федора, который все подливал себе в рюмку.

– Этому лишь бы выжрать, – осадил ее он мимоходом,

скорее, по привычке, чем по необходимости, и продолжила разговор с Катериной:

— Я ему, дундуку, покажу. Барин какой. И эта утка раскоряченная. Ну как ты думаешь? — раздраженно вдруг заговорила Антонина, обращаясь к Катерине. — У меня две девки. Опять же, Верка, племянница Федькина, у нас живет. Ни кола, ни двора. Замуж собирается, а где жить будут, еще неизвестно. И куда я матку? — спросила она Катерину в упор. — Нет уж. Он, паразит, квартиру получил вместе с маткой. Погостить, пожалуйста!.. Мам, ты побудь денька два, я разве против? — живо повернулась она к Василине. — А завтра я к этим схожу.

И замолчала. Федька тяжело встал из-за стола и под ненавидящим взглядом Антонины, слегка пошатываясь, пошел в свою комнату.

— Господи, вот свинья-то, — не удержавшись, бросила она зло в спину мужу, но тот даже не огрызнулся.

Василина прихлебывала чай из большой фаянсовой кружки, который пила по давней привычке вприкуску, макая сахар в чай. Она молча слушала, о чем говорила Антонина, и время от времени кивала головой, соглашаясь со всем, что та говорила.

Уложили Василину в зале на диван. Василина долго ворочалась и охала, пока нашла удобное положение, при котором боль в суставах не так беспокоила.

Уже засыпая, она вспомнила младшую сестру Дарью и по-

жалела ее. Все сыновья ее сложили головы, четыре сына, кровь и плоть ее, на этой войне. От слез ослепла Дарья. А живет еще. «Лет девяносто есть», – прикинула Василина. Недавно зять, Федор, Тонькин муж, в Галеевке был, восточку привез. «Ох-хо-хо, – подумала вдруг Василина, – долго живем, лишнее уже. И ноги не ходят, и руки не держат». И вспомнила, как вчера утром из рук у нее выскользнул стакан и разбился. Невестке она про стакан ничего не сказала, а собрала осколки и выбросила в мусор, затолкав поглубже.

– Теперь уж скоро Господь приберет. И меня, и Дарью, – успокоила себя Василина и, закрыв глаза, задремала.

Утром Василина собрала свой узел, взяла клюку, без которой на улицу не выходила, и пешком отправилась к самому жалкому своему сыну, Егору. Этот не прогонит. Сам хворый, потому и понимает лучше других, что такое немощь. И душа у него Богу открыта, хоть и партийный.

У Егора Василина прожила недолго, хотя ей было там покойно. Невестка Клавдия к ней отнеслась по-доброму и не притесняла, но Егор часто болел, и Василина видела, что она живет здесь обузой.

Она упросила Николая взять ее назад, а когда Катеринин сожитель в очередной раз от нее ушел, ее опять отвезли к Катерине.

Она плохо видела, из дома не выходила и все больше неподвижно сидела на диване, на котором и спала. Катерина, уходя на работу, закрывала ее на замок, и Антонина, изредка

наведываясь, чтобы справиться о ее здоровье, разговаривала с ней через дверь. Она жалела мать, но понимала и Катерину. Василине было за девяносто, и была она немощна, а поэтому неловка, часто била посуду, не всегда успевала дойти до туалета и оставляла за собой следы на полу. В комнате стоял нежилой дух, который никогда не выветривался. Свои притерпелись, а свежий человек с улицы долго в квартире не задерживался и под всяким предлогом спешил уйти. Василина и сама была себе не рада, видела, что зажилась, просила у Бога смерти, вся высохла и неизвестно, в чем душа держалась, а жила и жила. Без пользы, без толку...

Померла Василина днем. И померла как-то буднично. Утром встала, выпила с дочкой Катериной чаю. Посидела, по обыкновению, на диване. Потом легла и затихла. Катерина даже не заметила, когда Василина померла. Позвала: «Мамк, что будешь обедать?» Не получив ответа, через некоторое время подошла разбудить, а мать холодная. Катерина зажала ладонью рот и тихо охнула: «Ой, да что же это!» и вдруг заскулила по—собачьи, запричитала и вместо своих обид на мать почувствовала внезапный стыд от того, что сама обижала ее окриком, напрасной придижкой или выговором за пустяк. Уже и самой Катерине было за пятьдесят, и мыслью она свыклась, примирилась со скорой материнской кончиной и, чего скрывать, в сердцах грешила иной раз в мыслях, желая скорой смерти Василины, — грелась, змеюкой свернувшись в душе, такая надежда, — а теперь горе бы-

ло неподдельное, и сердце разрывалось от безысходной тоски. И Катерина впадала в полуобморочное состояние и плохо соображала, не зная, куда бежать и что делать дальше.

Обмывали и прибирали покойную старухи-соседки. У Василины лет пятнадцать как все было на смерть собрано, и она при жизни любила перебирать и перекладывать единственное свое богатство: новое сатиновое платье, полотняную нижнюю рубаху, ситцевый платок, тюль, туфли, наволочку, ленту для рук и ног, чтобы не расходились – все новое, ни разу не надеванное.

Теперь Василина тихо лежала в тюлевом гнезде, прямая и торжественная. На лице застыло безмятежное спокойствие, и проваленный рот тронуло подобие улыбки, будто она, освободившись от мирской суеты, достигла, наконец, желаемого счастья. Глаза впали, и затененные глазницы казались неестественно глубокими, заострившийся нос смотрел в потолок, а кости обтянутых пергаментной кожей рук лежали, сложенные на груди, и, выполняя последний работу, держали зажженную тонкую свечу, которая сливалась с руками и, казалось, была восковым их продолжением.

– Деньги на похороны собирали по частям. Сотню заняла Катерина, семьдесят рублей дала Антонина, сто дал Егор.

Сын, Николай, снял с книжки двести пятьдесят рублей, но был недоволен, ходил хмурый, молча сопел, гася раздражение, и все же не вытерпел и выговорил сестрам, упрекнул за то, что дали мало денег, а дома выплеснул обиду, жалуясь

жене:

– Чурки чертовы! Когда ни коснись – все денег нет. А на водку мужикам находят. Федька, тот вообще спился.

– Да почти каждый день захлестывает, – поддакнула жена.

– Ну ладно Катерина, та с мужиком не расписана. Лешка хочет-придет, хочет-уйдет. Считай, что одна. Эту жалко. А эта. Даром, что сестры. ... Николай устрой, Николай дай. Что я, обязан, что ли?

Антонину попреки брата задели за живое. Она пошла красными пятнами и злобно зашипела на Николая:

– Где я возьму? У меня три девки. И жрать, и одевать надо! Что мне, с неба рубли валятся? Сколько могла, столько и дала.

А Катерине сказала:

– Ничего не сделается. Пусть мощной потрясет. Как сыр в масле катается. Сам по триста рублей получает, и Зинка в магазине работает.

Антонина промокала глаза платком. А Катерине при мертвой матери разговор был неприятен, и она отмолчалась.

Николаю пришлось помотаться. Он заказывал гроб, торговался с могильщиками, ездил в магазин ритуальных услуг за венками, закупал водку и продукты. Его старшинство безоговорочно признавалось родственниками, он покрикивал на сестер, готовивших поминальный ужин, распоряжался, с ним советовались по разным вопросам, связанным с похоронами и столом.

С кладбищем чуть было не вышла промашка. Хотели похоронить, как просила Василина, рядом с мужем Тимофеем на Крестительском кладбище. Но родственникам сразу отказали по той причине, что кладбище переполнено, а на памятнике мужу стерта надпись. Николай заметался. Бросился туда, сюда. В нотариальной конторе даже попытался делопроизводительнице сунуть четвертной, но та, скосив глаза на сослуживицу за соседним столом, вдруг заорала ненормальным голосом:

– Как вы смеете? Да за это знаете что? ... Уберите немедленно.

И, упиваясь своей честностью, вдруг надулась индюшкой и завертела головой во все стороны, словно проверяя реакцию на свой героический поступок, хотя в комнате, кроме одной сослуживицы, больше никого не было.

«Чтоб тебе пусто было», – ругнулся про себя Николай, поспешно пряча деньги в карман.

Сунулись на новое кладбище. У черта на куличках – это ладно. Так ни кустика ведь, ни деревца. И ровные, как кровати в солдатских казармах, ряды могил – без оград, одна в одну. «Как огурчики», – довольно хохотнул невесть откуда взявшийся могильщик. От него несло сивухой, свекольное лицо светилось неуместной веселостью.

– Где будем копать, хозяин? – поинтересовался он и слегка качнулся.

Катерина заголосила впричет:

– Не будет ей, родненькой, тут покоя...

Николай и сам скис лимонно от этого какого-то не русского порядка.

– Чисто немцев хоронят каких. Да что мы, в самом деле-то, не русские что-ли? Без ограды, без скамейки...

Полдня просидел в горисполкоме в очереди, и вышел, облегченно вздохнув, – добился. Надпись была в самом деле стерта, но сохранился инвентарный номер, по нему нашли фамилию, а места рядом запас был: ограда стояла просторная.

Хоронили Василину с попом. Когда стали выносить из квартиры, Зинка ударилась голосить. Бабки-соседки сразу подхватили ее под руки, будто только того и ждали. Антонина с Катериной сдержанно шмыгали носами. Николай размазывал слезы по щекам, и его некрасивое лицо становилось почти уродливым от оскала неровных зубов и обнаженных десен.

Рыжеволосый батюшка, отец Афанасий, с круглым брюшком, барабанно натягивавшим рясу, привычной скороговоркой в нос проговаривал заупокойную молитву, глотая при этом не только концы слов, но и целые слова, завораживая, однако, красотой старославянского стиха: «Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная. Сам один еси Безсмертный, сотворивый и создавый человека, земнии убо от земли создахомся в землю туюжде пойдем, якоже повелел

еси, Создавый мя, и рекий ми: яко земля еси, и в землю отъидеши, а може вси человецы пойдем, надгробное рыдание творяще песнь: аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя».

Ухоженное, сытое лицо его скучало от обыденности. Певчие, молодые женщины, все будто на одно лицо, слаженно подпевали в три голоса тонкими церковными голосами. Дело свое они знали туго, успевали деловито о чем-то перешептаться, пока свое гнусавил батюшка, и во-время вступить в нужном месте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.